Стихи ангелов

Первое издание

Стихи ангелов

основано на философском опыте

Наблюдения Короля Проклятых и его Князей Мёртвых

В любящей памяти о
Дядя Гилберт
1936 - 2022

Рубен Коттенье

Автор: Рубен Коттенье
Дизайн обложки: Рубен Коттенье
Иллюстрации: Rubèn Cottenjé & Gilbert Retsin
Издательство: Latin-Flanders vzw (некоммерческая организация)
ISBN: 9789465312491
© Рубен Коттенье

Любое сходство с реальными людьми, событиями, действиями, приведёнными примерами или именами является чистой случайностью.

Оглавление

1. Он целует себя в зеркало и говорит: «Я тебя люблю». с.11

2. Двуглавый Дракон, Рак-Лев и Манифестор. Он. с.29

3. Моя кожа, мой манифест. с.47

4. Народ выше народов и Филистина. с.55

5. Есть женщина, достойная уважения. с.67

6. Ангелы. Образы Души. с.91

7. Homo Naledi, духовный друг
и начало религии. с.111

8. Евангелие Марии Каяющейся. с.139

9. Священный парадокс: брак, целибат
и скрытая страсть. с.165

10. Не сообразуйтесь с веком сим. с.199

11. Синдром Версаля. с.207

12. Сатанинская маска Ватикана II. с.221

13. Woke. с.241

14. Истинное, доброе и прекрасное. с.269

15. Трамп, Орбан и память цивилизации. с.281

16. Люцифернум, где Брюгге находит свою тень. с.301

Мы все в канаве, но некоторые из нас смотрят на звёзды.

Оскар Уайльд, 1892

1. Он целует себя в зеркало и говорит: «Я тебя люблю»

«Сказать, что я нахожусь в одном из самых богатых и красивых городов Северной Европы, жители которого разговаривают, как малыши», — сказал его апелдорнский друг, психиатр, чего уж там, с которым он пересекал историческую рыночную площадь Брюгге.
«Ты слышишь ничего, кроме непрерывных звуков, содержащих слова. Например: “кэрэкивэрэ”, “тисдаддэ”, “кэйет”, “доги” и так далее». «Весь брюггский словарный запас можно собрать в парке детского сада», — добавил он, чтобы ещё больше подкрепить своё утверждение.

Он был прав. Всё должно двигаться вперёд, всё должно идти быстро. Язык — тоже. Коротко и ёмко. Коммуникация как карикатура. Кто понял — тот поймал. Вот это и есть логическая смекалка брюгжца.

Он, его нидерландский друг, — психиатр. Он лишь надеется, что его пациенты не гениальнее и не безумнее его самого. Потому что тогда, тогда он подозревает, что человечество находится в ещё большей опасности, чем уже есть. А это плохо. Очень плохо.

Смог бы Нарцисс жить с самим собой, если бы, будучи ультраперфекционистом, знал о собственных недостатках? Безумие овладело бы его гением. Безумие, постоянно ссылающееся на свою непоколебимую надежду и веру в то, что гений рождается из безумия.
Тем не менее он знает, что надежда — лишь лицемерная и обманчивая иллюзия, паразитирующая на суровой реальности. Есть только настоящее, а всё остальное — надежда. Не так ли?

Но теперь он один. Вечернее солнце заливает Провинциальный двор золотым сиянием. Так двор, выстроенный из белого камня, буквально превращается в сверкающую корону неоготики. На фоне лазурно-синего вечернего неба он блистает во всей своей славе. Зрелище это — захватывающее дух. За-хва-ты-ва-ю-щее!

Он закуривает сигарету. Где-то во внутреннем кармане дремлет чувство времени. Часы бьют восемь. И он, брюгжец с часовым травматизмом, думает: восьми часов не существует.

Какое же это чувство. Мы находимся в моменте записи, который никогда больше не повторится, — в моменте пятницы, 25 июля 2025 года, и всё, что в будущем будет отсылать к воспоминанию о событии, свершившемся в этот день, в чьей бы то ни было жизни, в каком бы то ни было месте и с какой бы то ни было целью, — 25 июля 2025 года всегда потребует мо-ну-мен-та или хотя бы упоминания в протоколах.

Простые души тогда вспомнят старую и всем известную пословицу: «Вчера прошло, завтра — тайна, а сегодня, или, вернее, сейчас — это дар». Как бы там ни было, никогда уже не будет такого 25 июля 2025 года, как этот, единственного в своём роде. Точно так же, как Беффруа бьёт восемь раз, когда на крыше сидят двенадцать дремлющих голубей, и на восьмом ударе, в 8 часов 19 секунд, на крыше остаётся лишь один голубь. Мёртвый голубь. Голубь был уже так стар. Бедняга. Первый удар колокола карильона вызвал у него *crise cardiaque* — сердечный приступ. Фатальный всплеск кровообращения.

Не можем не признать, что и летнее солнце, в котором голубь дремал на освежающей высоте в восемьдесят три метра, сыграло свою роль, и что он до смерти испугался, когда язык колокола коснулся бронзы и излил свой громкий гул над средневековым городом. Голубь принадлежал к тем, кого мы, люди, могли бы назвать сорняками небес. Так жизнь этого простого голубя, успевшего насладиться долгим голубиным веком, пришла к достойному концу. Этот голубь своего конца не страдал.

У других голубей, например, бывают иные кончины. Есть такие, которых сбивает автомобиль. Такое с ним уже однажды случалось. Когда он отправился навестить друга неподалёку от Мария-Аальтер, он пересекал мост. Мчался через него на огромной скорости. Над каналом. Ровно там, где, не случайно, находилось кафе «Почтовый голубь».

Посреди дорожного полотна моста сидел голубь. Тот не успел взлететь и, к несчастью, оказался под шасси его *Mercedes 250C/8 coupé* 1969 года. Когда он проехал по нему, то увидел за машиной

целый фейерверк белых перьев и пуха, словно снежинки, кружащиеся в ветре. Это напомнило ему сказку про Госпожу Метелицу (*Frau Holle*).

При пересечении канала голубь был раздавлен.

Он был уверен, что сбитый голубь тогда в одно мгновение вошёл в голубиный рай. «Wuven en duven doen ’t geld stuven» — говорят в брюггском народе. Народ. Да, именно народ. Ведь там, где люди идут по пути утончённого искусства соединения мужчины и женщины с прививкой этикета, народное слово приобретает пролетарский оттенок. За каждым сильным мужчиной стоит ещё более сильная женщина. Соит. Народ говорит многое, не так ли? Народ даже правит.

Другое голубиное воспоминание — это когда его брат, называвший себя другом животных, разводил голубей у них дома. Тогда они ещё были детьми. Из яйца вылупился голубь с лёгким дефектом. Как-то так получалось, что, когда он немного подрос, покрылся перьями и учился летать, ему нужно было сделать небольшой, так сказать, разбег, прежде чем подняться в воздух.

Но у них была и собака. Звали её Борис. **Борис** по-русски. Дядя произносил это как *Барис*. Борис был игривым боксёром, который прекрасно уживался в доме с тремя детьми. Он был полон энергии — и это сыграло злую шутку с голубем, который внезапно оказался между зубами Бориса. Голубь, явно против воли Бориса, вёл смертельную борьбу до тех пор, пока трое братьев не вернулись домой из школы. Мать закричала, Борис испугался, резко выпустил голубя из пасти на пол. Голубь сделал ещё несколько предсмертных вздрагиваний. Брат утешил себя словами: «Это закон природы, воля Божья».

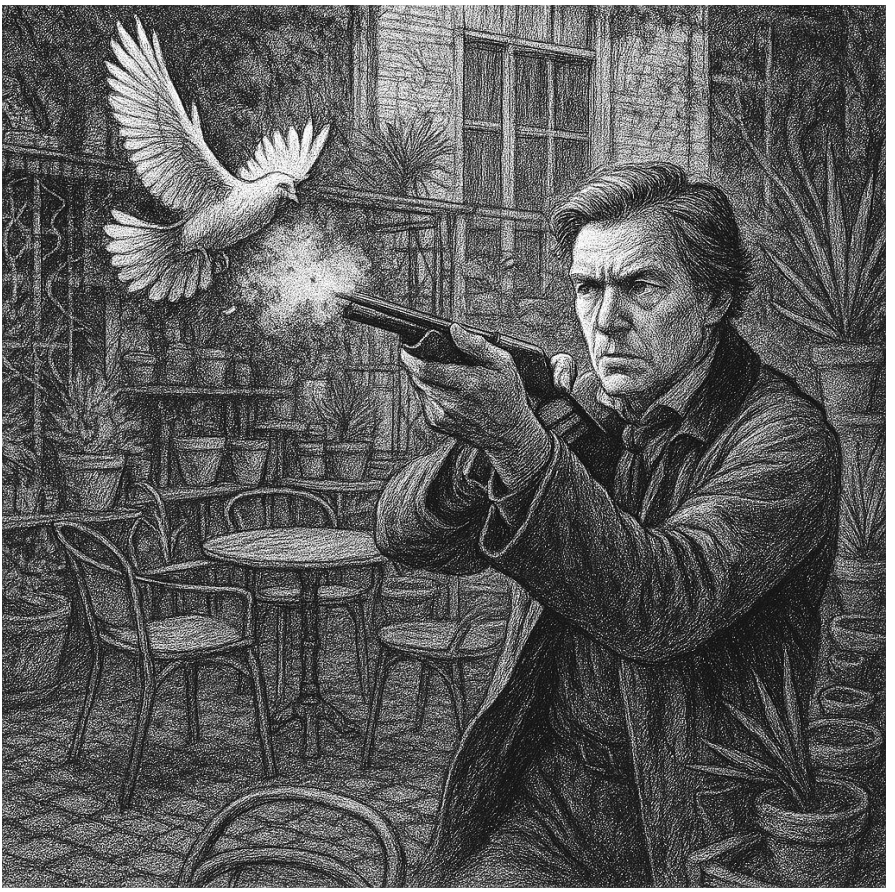
Третий «голубиный» эпизод произошёл с ним в году… должно быть, это был 2017-й, когда он оказался в *Lucifernum*. *Lucifernum* — это старинный городской особняк 1756 года, расположенный на улице Твейнстраат в Брюгге. Это дом его хорошего друга доктора Ретсина, которого он застал в городском саду с охотничьим ружьём — карабином, как это называют в народе.

Он видит: тот целится, прицеливается — и *бах*! Отдачу доктор принимает через приклад ружья на плечо. Он слышит, как нечто тяжёлое падает сквозь ветви и листву деревьев, а затем с глухим ударом шлёпается на землю.
Доктор Ретсин поворачивается к нему и говорит:
— Они мне водостоки загаживают! Голуби! Это крысы небес! Не то, чтобы стрелять их с деревьев — вот это меня не тяготит, а вот убирать их трупы мне ужасно неприятно.

Он вспоминает знакомую картину, которую хранит в памяти, связанную с рестораном *De Witte Poorte* у площади Яна ван Эйка. Момент после подачи блюд: когда серебряные кложи поднимались, там, словно сюрприз, лежал ощипанный голубь, подрумяненный в духовке, блестящий в собственном жиру, с аккуратно связанными верёвочкой вдоль тельца безоперёнными крылышками — готовый к тому, чтобы его вкусили. Голубь, если правильно приготовить, — вкусное, полезное и весьма питательное блюдо. Излишек же голубятины может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Излишества — не его стиль.

Но вернёмся к 25 июля 2025 года. Не к огорчению одиннадцати других голубей на беффруа, которые при первом же грохоте колокола буквально пустились в полёт. Их крошечные голубиные мозги не содержат ни малейшего представления о том, чтобы как-

то позаботиться о своём почившем сородиче. Усопшего голубя на рассвете не сопровождают на «голубиную церемонию» в загробный мир, а аккуратно поднимает человек в пластиковых перчатках и, в полном соответствии с протоколом, предписанным этими бурными и сомнительными временами, помещает его в жёлтый пластиковый мешок для мусора, в котором уже лежат прочие пыльные останки. Один голубь — не такой, как другой.



Доктор Ретсин охотится на голубей — крыс небес.

Некоторые люди, как они утверждают, живут лишь один раз. Но не он. Он живёт каждый день и умирает только один раз — за всю жизнь. Да ведь так? Люди бывают всякие: высокие, низкие, крепкие, хрупкие, красивые и такие, что напоминают лишь предметы внутренней архитектуры.

Ещё в начальной школе их можно различить. При раздаче первых оценок всё видно: дети-радости, дети-плакучие ивы и безразличные. Последние не знают, что такое оценки. Может, в этом и есть наибольшая чистота.

Но оценки есть оценки, как ни крути. Даже если их согреть педагогической шерстью, они всё равно остаются тем, чем они являются: подтверждением. Бабушка знала это давно, да и учительница теперь тоже. «Ты — дитя Божье», — говорила бабушка. И ты верил, пока обратное не было выражено в десятичных дробях.

Хорошие оценки — это как аплодисменты твоему существованию. Плохие оценки ничего не подтверждают. Но сегодня мы это уже не называем «плохими». Нет, теперь это «менее хорошее». Ведь честность нынче считается грубым скандалом. Мы больше не говорим то, что имеем в виду, — мы говорим то, что положено. И даже это — с некоторой сдержанностью.

Дети, которые с малых лет склонны к критическому мышлению, которые не принимают безоговорочно всё, что говорят учителя или родители, с ранних пор воспринимаются как трудные. Но это вовсе не значит, что они не способны получать хорошие оценки. Их природный бунтарский дух запускает эффект снежного кома, который закладывает мины под их будущее.

Они не вписываются в картину, которую видит система, из-за этого получают более низкие баллы, теряют мужество и растрачивают энергию на защиту своей позиции. Их заранее либо отбирают, либо «отменяют».

Так мы лжём Богу. Или умалчиваем о Дьяволе. Что, по сути, одно и то же. «Бог» и «Дьявол» сегодня — это слова, которые встречаются лишь в художественной литературе и в устойчивых выражениях. Они изгнаны из Бельгии — страны, которая любит называть себя светской, хотя по сути она осторожно атеистична и латентно католична. Рассудочная и деловая. Цена сегодня ценится выше, чем ценность.

Представьте, что бельгийский король закончил бы свою речь к нации словами: «И да благословит Бог Бельгию». Страна бы взорвалась. Заговорили бы о недопустимом вмешательстве,

архаической символике, нежелательной теократии. А вот американский президент произносит ту же фразу без всяких проблем — и никто не удивляется. Хо-хо-хо. Всё дело в том, к чему мы привыкли. А значит, и в том, что мы готовы принять. Понятия «хорошо» и «плохо» уже сосланы в языковой ад. Мы больше не имеем права называть что-либо «плохим». Мы говорим: «менее хорошее». Будто ставим ребёнка перед пропастью и шепчем: «Это был субоптимальный прыжок». И всегда громче всех кричат о том, что никого нельзя обижать, именно те, кого на самом деле никогда всерьёз не ранили.
Мысли его уносятся прочь; замечание голландского друга о фламандском языке растворяется, как утренний туман. Пятнадцать минут девятого. Карильон брюггской Беффруа начинает играть. *Tulpen uit Amsterdam*. Он узнаёт мелодию сразу. Это что-то пробуждает. Не умом. Не политически. Просто… что-то тёплое, настоящее. Что-то, что поднимается из груди и добирается до губ в свисте, о котором он сам даже не отдаёт себе отчёта. Мелодия — это простота. Песня — просто песня. Не манифест, не памфлет, не метафорическая глубина. Лишь погоня за мечтой, выстреленной через охапку тюльпанов.

Согласно тексту, есть три способа подарить эти тюльпаны: их можно прислать, можно сорвать, а можно принести. Первые два способа — пассивные, отстранённые. Любовь с маркой. Но в третьем — *«als ik wederkom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam»* — нужно быть там самому. С телом. С руками. С дыханием.
Хммм, думает он, вот в чём вся разница.

Карильон.
В этот душный летний вечер он фланирует по городу, который пахнет прошлым. Брюгге, в своём средневековом облачении, с мостовой, словно морщины, и фасадами — молчаливыми свидетелями. Он не идёт — нет, он фланирует. Ходьба — это функционально. Фланировать — это уже идентичность.

Как раз когда он поворачивает за угол улицы, пахнущей сыростью камня и забытыми легендами, над крышами раздаётся мелодия. Из восьми звуковых окон беффруа вниз, словно ароматный пар из чайника, спускается *Tulpen uit Amsterdam*.
Сердце его улыбается. И губы тоже. Н mim Сам собой он думает: конечно, я бы хотел подарить тебе тюльпаны из Амстердама. Достаточно галантный жест. И поэтичный, к тому же. Но… а

тюльпаны-то вообще из Амстердама? Он ведь был там уже не раз, но ни разу не видел там тюльпановых полей. Да, он плавал по каналам, гулял по улочкам, переходил мостики, проходил мимо пахучих кофешопов — это всё было. Но поля с тюльпанами? Ни одного!

Даже в самом сердце Амстердама — никаких тюльпановых плантаций. Есть красивые старые дома, прижавшиеся друг к другу, построенные, кажется, на сваях. Есть Рейксмузеум, площадь Рембрандта, Королевский дворец на площади Дам, квартал красных
фонарей и даже район Йордаан. Всё это — Амстердам. Но тюльпановодов там не сыскать.

А вот в Андейке, Энкхёйзене и Бовенкарспеле — да, там много тюльпановых полей. И возле Хорна глаза радуются бескрайним цветным коврам. А на севере провинции Северная Голландия находится крупнейший в мире единый массив цветочных плантаций. Даже если ехать между Петтеном, Ден-Хелдером и Виринге рверфом, всё равно видишь бесконечные тюльпановые поля. Они раскрашивают всю область между Северным морем и Эйсселмером.

Но в Амстердаме — нет. Давайте это проясним. Не в Амстердаме. Тюльпаны вовсе не из Амстердама.

Высоко в своей башне сидит звонарь. В кирпичном убежище, изолированный, словно отшельник с манией к гаммам. Он колотит, он топает, он вырывает музыку из карильона так же, как священник — истину из Писания. Не за деньги, не ради славы, а чтобы подарить городу концерт, который никто не заказывал, но который, как оказывается, всем необходим. Бетховен. Дебюсси. Лёгкий штрих Рэймонда ван хет Грёневоуда. Две девичьи голоса, гулко над каналами. Иногда Бах. Иногда Брель. Сейчас — *Tulpen uit Amsterdam*.

Разве это не прекрасно? Человек, наполняющий город колоколами.
Город, который — в зависимости от погоды и ветра — то благодарен, то глух. Иногда его слышно повсюду. Иногда — нет. Таков Брюгге.

Рок-группа у кафе «Печаль Бельгии».

Он продолжает фланировать. Песня в его ушах. Улыбка на губах. И где-то в глубине сознания — абсурдное, трепетное осознание: иногда тюльпан приходит не из Амстердама. Но мечта — да.

Рок-группа.
Он бродит. Ни одно другое слово не подходит лучше к тому, что он делает в этот час. Бродит. Так, как умеет только человек с прошлым в ногах и мыслями в тени — по средневековым переулкам, пахнущим камнем, сажей и старыми духовыми инструментами. Направо, налево, в переулок, за поворот — и вдруг… грохот. Глубокий бас. Не звук — нападение. Оконные стёкла из векового стекла дрожат в своих свинцовых переплётах, словно город на мгновение растерялся. Он тоже. Ведь всего несколько метров назад он ничего не слышал — только колокольный звон, а теперь вот это.

Звуковое поле битвы, звуковая дуэль: небесный перезвон беффруа сталкивается с нутряным ритмом брюггского подполья. На площади Краанплейн стоит маленькая сцена, существование которой оправдано её скромностью. Достаточно большая для двух гитаристов и перкуссиониста с барабанной установкой, но слишком тесная для вокалиста, который потому выбрался вперёд и, рыча, обращается к публике. Микрофон дрожит от его отчаяния.

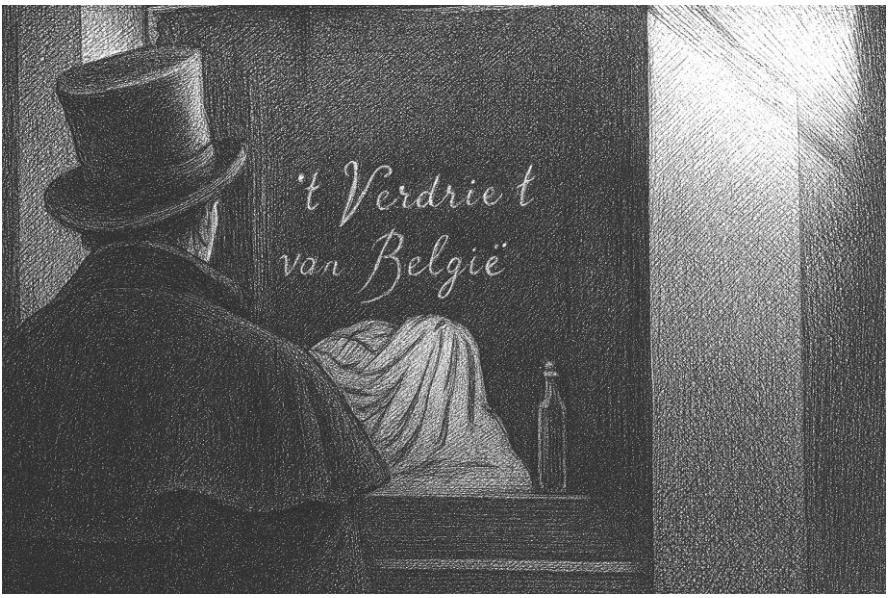
Что он кричит? Ни одна собака не понимает. Ни одна. И он тоже.

Вероятно, он протестует против того, что не стоит **на** сцене. Но при более внимательном прислушивании это звучит как *check!* — конечно, по-английски. Потому что английский звучит круче. Английский скрывает неуверенность. Английский кажется профессиональным — даже если его говорит брюгжец, который ещё в колледже Святого Лео учил латынь.

Гитары настраиваются. Барабан получает удары. Этот звук — не столько вступление, сколько предупреждение. Фрагменты чего-то, что могло бы быть музыкой или маскируется под неё, пробиваются сквозь площадь, в то время как высоко над ними культурный карильон элегантно продолжает настаивать на музыке.

Фронтмена он где-то знает — наверняка брюгжец. Говор выдаёт. Брюгге внешне интернационален, но по сути — лебединый пруд:

все друг друга встречают. Его это, впрочем, не трогает. Ведь узнавание — это не связь. Особенно не в майках-«marcellekes». Их носят все — выцветшие, чёрные, безрукавные, с нечитаемыми надписями. Не мода, а заявление. Когда-то, в середине XIX
века, это была рабочая одежда фермеров и военных, теперь возрождена как своего рода социальная кличка: «Я из тех, кого не отстираешь». Мышцы посредственные, процент жира разочаровывающий, а волосы? Длинные. Жирные. Немытые. Здесь шампунь — форма угнетения.



«Печаль Бельгии» на площади Краанплейн.

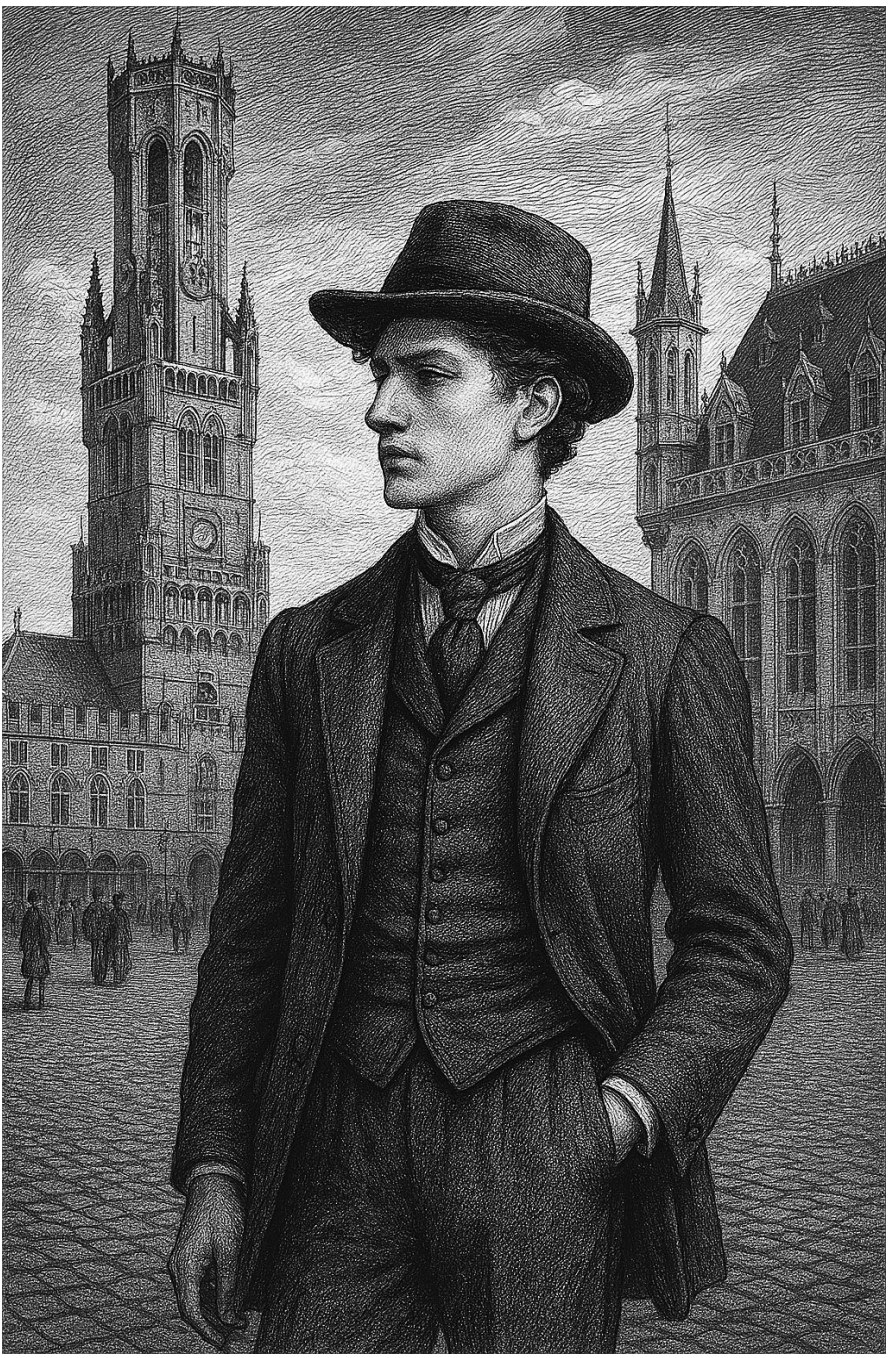
Он это узнаёт. Такие группы были всегда. Ему было двенадцать, когда феномен *Cactus* обосновался на площади Святого Аманда. Тогда у его отца там был бизнес. Он помнит, как его любопытный взгляд в сторону изможденных фигур, опоясанных ремнями, пустыми гильзами и цепями, был замечен бабушкой. Её приговор был решителен — домашний арест. «Это не люди для нас», — сказала она. В её глазах сверкало то же любопытство, что и в его. Только она научилась аккуратно маскировать его под моральное осуждение. Теперь он взрослый — по документам, во всяком случае, — и должен признать: многое из её техники он перенял. Его дядя, к которому он относился с безусловным почтением и которого он зовёт *nonkel*, её в этом поддерживал.
Soit, мы отвлеклись.

«Печаль Бельгии»
Техника на сцене тем временем настроена. Внутри, в кафе с подходящим названием *’t Verdriet van België*, люди переглядываются и кивают друг другу. Всё готово. Шоу может начинаться.

И оно начинается! Хотя и неясно — в какой именно момент. Яростно! Разгорается звуковое насилие. Крики. Риффы. Певец, всё так же внизу, перед, против, но не **на** сцене, бушует так, будто должен избавить мир от собственных голосовых связок. Его сонная артерия пульсирует, как гидравлический механизм. Его майка-*marcelleke* липнет к груди, как мокрый флаг на полшестого. Плоский живот прижимается к позвоночнику. Да, это хорошо. Так и надо. Хотим больше.
На нём белые трусы Tommy Hilfiger. Он задерживает взгляд. Вампир в нём посылает жадный, скользящий по телу взгляд, которое бессознательно выставлено напоказ. Под потом, дрожащие мышцы, ровная кожа с толстыми жилами, проступающими на предплечьях. Ни улыбки. Ни осуждения. Только медленная, глубинная жажда. Есть что-то в этой небрежности молодых двадцатилетних. В их сияющей коже. Они, похоже, не понимают, что никогда больше в жизни не будут красивее, чем в этот момент.

Всё в этой беспечной красоте — вспотевшая кожа, пульсирующая шея, туго очерченные линии тела, которое считает себя само собой разумеющимся. Кровь, шумящая под ним, уже не абстракция. У неё есть цвет. Есть температура, запах и ритм. Он чувствует, как старое желание распрямляется медленно, под рёбрами. Не чтобы разорвать. Нет, не это. Чтобы восхищаться. Чтобы приблизиться. Чтобы наблюдать. Чтобы попробовать — пусть даже только глазами. Глазами.

Он не улыбается. Он не судит. Он наблюдает. Слушайте — где-то на заднем плане беффруа тихо играет фугу Баха. Контраст полный.
На белых заглавных буквах, на резинке, обхватывающей талию, написано: **Hilfiger**. *Tommy Hilfiger* — это для идеального зятя. Для того, кто по воскресеньям садится за стол с родителями своей девушки, жмёт руку с правильной силой и на вопрос о планах на будущее аккуратно отвечает: «Инженер». Но не для этого парня.



Брюгге, денди.

Не для того, кто орёт в микрофон, будто одновременно рожает и его выставили из дома. Не для того, кто носит жирные волосы, как корону. Какая стилистическая трещина. Какой слабак.

Вокруг него? Неряшливая — да, неряшливая — дюжина сторонников. Единомышленников. Это видно сразу. Маленькое стадо мужчин, которых узнаешь из тысячи. Чёрная футболка, выцветшие джинсы, обувь, которая когда-то была ботинками, а теперь в основном носит запах. Волосы? Жирнее, чем хорошо использованная фритюрница. Эта униформенность трогательна. Некий бунт в униформе.
Против кого, собственно, кричит этот человек? Он смотрит. Слушает. Чувствует. Но ни одна клетка его тела не ощущает себя адресатом. То, что здесь происходит, — не концерт. Не перформанс. Это мастурбация на сцене с оргазмом в децибелах. Только не на сцене, нет. Перед сценой. Среди публики. На уровне глаз с террасой. Без фильтра, без контекста, без смысла.

Певец… простите, вокалист, ведь «певец» было бы святотатством, тараторит без конца. И вдруг — тишина. Шум гаснет. Как пёс, внезапно решивший перестать лаять. Возбуждённый, почти в ярости, он заходит в кафе *’t Verdriet van België*. Место подходящее. Потому что если это и есть Бельгия, то печаль вполне оправдана.

Публика что-то бормочет. Спокойный, почти ленивый гул. Ни восторгов. Ни негодования. Просто коллективная апатия. Как вода Рее, которая, вспугнутая взмахом крыльев взлетающего лебедя, мягко плещется о берега, заросшие мелким зелёным зельем. Город снова дышит. Он вздыхает. Где Либераче, когда он так нужен?

Чего бы он только ни отдал за рояль, выложенный зеркальной мозаикой. За свет свечей, мерцающий в бриллиантовых запонках. За театральную роскошь с ироничным подмигиванием. За красоту настолько демонстративную, что она снова становится тихой. Но нет. Здесь нет Либераче. Здесь — жирные волосы и ложный гнев. Здесь — гитарный шум, упакованный в экзистенциальный крик. Здесь — белые трусы поверх рваных джинсов. Он выпрямляет спину. Левую руку засовывает в карман. В правой — трость.

Серенада Тени
Частная коллекция — Lucifernum (Люцифернум)

«И дал дракон зверю силу свою, и престол свой, и великую власть.»

Откровение 13:2

2. Двуглавый Дракон, Рак-Лев и Манифестор. Он.

Он приходит в среду, ранним утром. Тридцатого июня. Не случайно. Совсем не случайно. У его матери отходят воды, пока город ещё спит, а воздух уже дрожит от палящего зноя, который никто больше не в силах вынести. В семь часов пятьдесят минут ровно он появляется на свет. В Брюгге. Не в народном роддоме Синт-Янс при церкви Богоматери, где детские голоса звучат как эхо прошлого, а на окраине города — в *Hôpital des Sœurs Augustines de Meaux*. В народе — клиника Святого Иосифа. Феерическое неоготическое убежище с лестничными фронтонами, аркадами и башенками, кланяющимися, как застенчивые придворные. Место, где стены знают, что такое романтика.

Он покидает утробу матери под короной растущей луны, рождённый под знаком Рака, но со взглядом Льва на горизонте — *Асцендент*, как это называют, тень, что идёт впереди твоего астрологического знака. Китай в тот год празднует Дракона, и небесная карта этого часа, в этом месте, записывает это дважды: он — Дракон, с Драконом в спутниках. Он — как тогда ещё не знают — Манифестор. Лишь немногим выпадает такая судьба. Восемь процентов, если хотите цифру. Восемь из ста. Именно так. Остальные ждут. Он — нет. Он движется. Его энергия — не ответ, а начало. Других надо толкать, тянуть, просить. Он открывает. Без разрешения. Без совета. Не из храбрости, а по природе. Он просто тот, о ком мир знает ещё до того, как он заговорит.

В тот день жарко. Не просто жарко. Не зной, не духота. Нет, это лето, которое навязывает себя, пожирает, густеет. Жара, что неделями дрожит, как огонь, поселившийся под кожей Европы. Долгие дни за тридцать. Пот лежит блестящей плёнкой на его новорождённой коже. Всё трещит. Даже деревья устали.

Но вот, пока город ещё дышит своим утренним паром, слабый солнечный луч отражается в одинокой капле росы, качающейся на кончике листа. Лист дрожит — едва, почти незаметно. Птица вспархивает. Её полёт двигает воздух. Капля падает. Там, на улице,

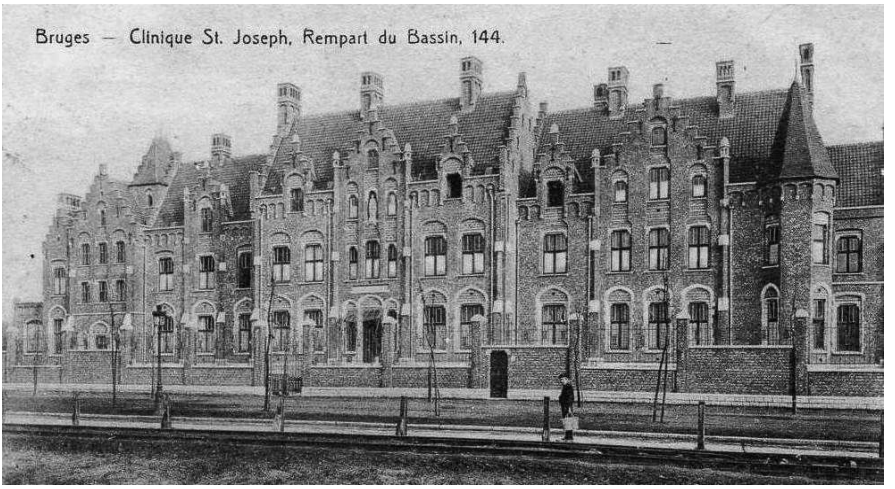
она брызгается о лысую голову одинокого велосипедиста. Он проводит рукой по черепу, тянется. Галька, шатающийся булыжник — Бог знает что именно — заставляет переднее колесо вилять. Он падает. Приближается грузовик, ослеплённый солнцем, и уже не может остановиться. Одна жизнь обрывается. Семья распадается. Печаль. Шум. Завещание.

Единственное, что имеет значение, — это то, что это происходит. И **как** происходит. Что это было написано на карте, не напечатанной, а начерченной звёздной пылью. Ведь каждое начало тянет за собой нити. Каждое рождение — это сдвиг. Это рождение, в то утро, в том *hôpital*, под тем небосводом — оно что-то запустило. Он родился, да. Но то, что действительно началось, — это движение. Как Дракон под Драконом, Рак под Львом. Он уникален, как уникален каждый. И вы, уважаемый читатель, тоже уникальны. Не как слово, а как факт. Ведь никто другой не родился точно в том же месте, в тот же миг, под тем же созвездием, как вы.

Он здесь. Без звука, без спешки, без намерения. Будто вынырнул из трещины в воздухе. Люди часто не знают, что сказать, когда он входит. Выпрямляются. Переформулируют мысли. Некоторые необъяснимо чувствуют себя пойманными с поличным. Он это замечает, но молчит. Он живёт с этим эффектом так же, как живёшь с запахом своей кожи. Он просто есть.

Он не создан, чтобы подстраиваться. Ни под кого. Не из протеста, а по природе. Он не входит в уже существующее — он что-то запускает. Всегда. Это не выбор. Он — первая петля на петлях двери. Рука, открывающая что-то, не потянув за ручку. Ему не нужно разрешение. Он его и редко просит. Он уже знает: если он сдерживается, он исчезает. Если выражается — мир отвечает давлением. Гнев ему не чужд. Не громкий, а дремлющий, как старые угли под тонким слоем пепла.

Люди его не понимают, если он не объясняет. Его аура — как закрытые ворота, за которыми что-то сияет. Другие это чувствуют, но войти не могут. Они называют его отстранённым. Он называет себя ясным. Его воздействие ощутимо, но редко



Брюгге, *Hôpital des Sœurs Augustines de Meaux*. 1904 год.

переводится в слова. Он научился: если он не сообщает, что намерен сделать, ему будут мешать. Всегда. Не из злобы, а по инстинкту. Люди либо «за», либо «против». Ничего посередине. Потому что в нём что-то движется быстрее и масштабнее, чем кто-то способен уследить.

Поэтому он иногда информирует. Спокойно, коротко. Если одной фразы недостаточно, значит, не получится. И тогда сопротивление отступает, словно дверь, что сначала упиралась, теперь открывается сама — или наоборот.

Иногда он подозревает, что при его рождении с ним пришло ещё что-то. Не болезнь. Не дар. Что-то древнее. Как вздох, который он не делал сам. Дракон. Может, вампир. Да, вампир. Или что-то, что за него принимают. Что-то, что привяжет всю его жизнь к идеалу красоты. Его рождение было тихим, говорят. Тихим, но насыщенным. Будто кто-то или что-то прокралось к нему в тот миг, когда первый вдох поднял занавес. Бабушка, как и все бабушки при рождении первого внука, была вне себя от счастья. Для неё это было не тихо. Это было почти канонизацией. А, по сути, именно ею.

Он живёт в крайностях. Думать — или не думать. Тишина — или огонь. Внутренне: присутствовать или исчезнуть. Середины нет.

Средние дороги — для тех, кто ждёт. Для пациентов. Он не ждёт никогда. Ждать — значит просить разрешения, а он не создан для этого. Внешне: его либо обожают, либо презирают. Он понял это недавно. С тех пор, как узнал, что он — Манифестор.

Слово ему мало что говорит, но описание — верно. Он здесь, чтобы начинать. Не чтобы завершать. Не чтобы следовать. Не чтобы входить в гармонию с волнами. Он — сама волна. Остальные созданы, чтобы отвечать, продолжать, доводить до совершенства.

Уравновешивать. Он — нет. Он — это огонь вдалеке, а затем — бег.

Ночью он лежит неподвижно. Лучше один. Поэтому часто — один. Любовь для него священна. Любовь — это красота. Любовь — это эстетика. Восхищение и изумление. Любовь — это комфорт. Любовь — это свобода, его драгоценнейшее благо. «Любить себя — это начало романа на всю жизнь», — записал однажды Оскар Уайльд. Он ищет край кровати, подальше от всего, что дышит. Даже спящее тело в комнате может стать для него лишним. Он ощущает ауры, как шторма. Поэтому держит стены между собой и остальными. Не дистанцию из холодности, а из необходимости. Он может нести себя только тогда, когда его не захлёстывает.

Он живёт не с сомнением, а с тяжестью. Каждое действие ощущается как толчок. Каждое решение — как домино. Поэтому он много говорит, но мало что произносит по сути. Поэтому пишет письма, которые не отправляет, и спорит с зеркалом. Он знает: влияние слова может быть больше, чем у прорыва дамбы.

Тот, кто смотрит внимательно, видит это. По его манере стоять. По его паузам. По пространству, что остаётся вокруг него. Они этого не знают, но чувствуют: он здесь не просто так.

Он пришёл, чтобы что-то открыть. Что-то сдвинуть. Что-то зажечь. А потом — снова исчезнуть.
Он — последний отпрыск старинного рода, корнями уходящего в мягкую глину Васкаля, деревни во Французской Фландрии. По его венам течёт холодная кровь — синяя, но с памятью, с обещанием. Девиз его рода: «Одна Истина, Одна Любовь» — живёт в нём как непреложная обязанность, вплетённая в ткани его сущности.